# Брачный пир

# Альбер Камю

## БРАЧНЫЙ ПИР В ТИПАСА

Весной в Типаса обитают боги, и боги говорят на языке солнца и запаха полыни, моря, закованного в серебряные латы, синего, без отбелей, неба, руин, утопающих в цветах, и кипени света на грудах камней. В иные часы все вокруг черно от слепящего солнца. Глаза тщетно пытаются уловить что-нибудь, кроме дрожащих на ресницах капелек света и красок. От густого запаха ароматических трав, который стоит в знойном воздухе, першит в горле и нечем дышать. Я едва различаю черную громаду Шенуа, который вырастает из окружающих селение холмов и тяжелой, уверенной поступью спускается к морю.

Мы едем через селение, откуда уже видна бухта. Мы вступаем в желто-синий мир, где нас встречает, как вздох, терпкий аромат, который летом издает земля в Алжире. Повсюду из-за стен вилл выглядывают бугенвиллеи; в садах — еще бледные кетмии, которые скоро станут пурпурными, и море чайных роз, пенящихся, как взбитые сливки, в обрамлении нежно-лиловых ирисов на длинных стеблях. Каждый камень излучает тепло. Когда мы выходим из автобуса, сверкающего, как начищенная золотая пуговица, мясники в своих красных машинах, как обычно по утрам, объезжают селение, сзывая жителей гудками сирен.

Слева от порта лестница из каменных плит, не скрепленных цементом, ведет к руинам через заросли дрока и мастиковых деревьев. Дорога проходит мимо маленького маяка и теряется в полях. От самого подножия этого маяка какие-то большие мясистые растения с фиолетовыми, желтыми и красными цветами спускаются к первым скалам, которые море целует взасос. Мы стоим на солнце, обдуваемые легким ветром, который касается холодком одной стороны лица, и смотрим, как с неба нисходит свет и море, без единой морщинки, улыбается своей белозубой улыбкой. Прежде чем вступить в царство руин, мы в последний раз созерцаем пейзаж, как сторонние зрители.

Едва мы делаем несколько шагов, полынь берет нас за горло. Повсюду, насколько хватает глаз, ее серые волосы покрывают руины. От зноя в ней бродят соки, и кажется, на всем свете от земли к солнцу поднимается крепкий хмель, от которого пьянеет и шатается небо. Мы идем навстречу любви и желанию. Мы не ищем поучений, проникнутых горькой философией, которых обычно ждут от всего величественного. Все, кроме солнца, поцелуев и диких запахов, кажется нам пустым. Что до меня, я не стремлюсь бывать здесь в одиночестве. Часто я приезжал сюда с теми, кого любил, и я читал в их чертах светлую улыбку, которой здесь озаряется лик любви. Здесь мне нет дела до порядка и меры. Меня всецело захватывает необузданное своеволие природы и распутство моря. Сочетавшись с весной, руины опять стали камнями и, утратив наведенную людьми полировку, вновь приобщились к природе. Чтобы отпраздновать возвращение этих блудных сыновей, природа щедро рассыпала цветы. Между плит форума гелиотроп просовывает свою круглую белую головку, и красные герани обагряют кровью то, что некогда было домами, храмами и городскими площадями. Подобно тому как иных ученых наука вновь приводит к боту, столетия вновь привели руины в обитель их матери. Ныне их наконец покидает их прошлое, и ничто уже не мешает им покориться той властной силе, которая увлекает свободно падающее тело.

Сколько часов провел я, топча полынь, ощупывая теплые камни и пытаясь согласовать свое дыхание с бурными вздохами мира! Одурманенный дикими запахами и дремотным жужжанием насекомых, я приемлю взором и сердцем невыносимое величие знойного неба. Не так-то легко стать самим собой, вернуть утерянную внутреннюю гармонию. Но, глядя на массивный хребет Шенуа, я неизменно испытывал странное успокоение. Я начинал дышать глубоко и ровно, я обретал душевную цельность и полноту. Я поднимался то на один, то на другой склон, и каждый раз меня ждало вознаграждение, как, например, этот храм, колоннами которого расчислен бег солнца, а со ступеней видно все селение с его белыми и розовыми крышами и зелеными верандами. Или эта базилика на Восточном холме: ее стены сохранились, а вокруг нее широким кольцом тянутся раскопанные саркофаги, по большей части едва обнажившиеся, еще причастные к земле. Прежде в них покоились мертвые, а теперь растут желтые левкои и шалфей. Сент-Сальса — христианская базилика, но стоит посмотреть в любой пролом, как, изгоняя чувство отрешенности, до нас доносится мелодия мира: склоны усажены соснами и кипарисами, а в каких-нибудь двадцати метрах белеет барашками море. У холма, на котором возвышается Сент-Сальса, плоская вершица, и от этого ветер свободнее бродит в портиках храма. Под лучами утреннего солнца блаженством дышит простор.

Нищи те, кто нуждается в мифах. Здесь боги служат руслами, по которым текут дни, или вехами, отмечающими их течение. Описывая пейзаж, я говорю: «Вот это красное, это синее, это зеленое. Это море, горы, цветы». И к чему мне упоминать о Дионисе, чтобы сказать, что я люблю, раздавив пальцами, подносить к носу почки мастикового дерева? И Деметре ли посвящен тот древний гимн, который потом сам собою пришел мне на память: «Счастлив тот из живущих на земле, кто видел это». Видеть, и видеть земное, — как можно забыть этот завет? Участникам Элевзинских мистерий достаточно было созерцать. Я знаю, что даже здесь я никогда до конца не сближусь с миром. Мне нужно раздеться донага и броситься в море, растворить в нем пропитавшие меня земные запахи и своим телом сомкнуть объятия, о которых издавна, прильнув устами к устам, вздыхают земля и море. Я вхожу в воду, словно в холодную смолу, и у меня перехватывает дыхание; потом ныряю; шумит в ушах, течет из носу, горько во рту, и я плыву — руки взлетают из воды, блестящие, будто покрытые лаком и позлащенные солнцем, сгибаются и опускаются, играя каждым мускулом; вода струится вдоль тела, я с шумом отталкиваюсь ногами, попирая волну, и — нет предо мной горизонта. На берегу я падаю на песок, вновь обретая тяжесть костей и плоти, и безвольно лежу, одуревший от солнца, изредка поглядывая на свои руки и следя, как с них скатываются капельки воды и там, где кожа высыхает, показываются золотистый пушок и пятнышки соли.

Здесь я понимаю, что такое избранничество: это право безмерно любить. Есть лишь одна любовь в этом мире.

Сжимать в объятиях тело женщины — то же, что вбирать в себя странную радость, которая с неба нисходит к морю. Сейчас я брошусь наземь и, валяясь по полыни, чтобы пропитаться ее запахом, буду сознавать, что поступаю согласно истинной природе вещей, в силу которой солнце светит, а я когда-нибудь умру. В известном смысле здесь я ставлю на карту свою жизнь, жизнь, согретую теплом, которое излучают камни, полную вздохов моря и стрекота цикад, которые заводят теперь свою песнь. Свежий ветерок, синее небо. Я самозабвенно люблю эту жизнь и хочу безудержно говорить о ней: она внушает мне гордость за мою судьбу — судьбу человека. Однако мне не раз говорили: тут нечем гордиться. Нет, есть чем: этим солнцем, этим морем, моим сердцем, прыгающим от молодости, моим солоноватым телом и необъятным простором, где в желтых и синих тонах пейзажа сочетаются нежность и величие. Завоевать все это — вот на что я должен употребить все мои силы и средства. Здесь ничто не мешает мне оставаться самим собой, я ни от чего не отрекаюсь и не надеваю никакой маски: мне достаточно терпеливо учиться жить. Это трудная наука, но она стоит всех формул житейской мудрости.

Незадолго до полудня мы через руины возвращаемся в маленькое кафе у самого порта. Какое отрадное убежище этот прохладный, полный тени зал, когда в голове звенит от солнца и красок, как освежает стакан ледяной зеленой мяты! За окном — море и сверкающая горячей пылью дорога. Сидя за столиком, я пытаюсь смотреть на раскаленное добела небо, мигаю и щурюсь — в глазах рябит от слепящего света. Лица у нас потные, но тело под легким полотняным платьем, в которое мы одеты, сохраняет приятную свежесть, и от всех нас веет счастливой усталостью людей, празднующих свое бракосочетание с миром.

Кормят в этом кафе плохо, зато здесь много фруктов — главным образом персиков, таких зрелых, что, когда их ешь, сок течет по подбородку. Смакуя персик, я слушаю, как во мне бурлит кровь, стуча в виски, и смотрю во все глаза. На море воцарилась всеобъемлющая полуденная тишина. Всякое прекрасное существо естественно гордится своей красотой, и гордость мира сегодня сквозит во всем. Зачем же мне перед его лицом отрицать радость жизни, если радость жизни для меня не исключает всего остального? Быть счастливым не стыдно. Но ныне король — глупец, а глупцом я называю того, кто боится наслаждаться жизнью. Нам так много говорили о гордости: вы ведь знаете, это сатанинский грех. Берегитесь, кричали нам, вы погубите себя и свои живые силы! С тех пор я узнал, что известного рода гордость действительно... Но в иные минуты я не могу не настаивать на своем праве гордиться жизнью, ибо весь мир вступает в заговор, чтобы вселить в меня это чувство. В Типаса видеть и верить — одно и то же, и я не стану упорно отрицать то, к чему могу прикоснуться рукой или губами. Я не испытываю потребности воссоздать увиденное в произведении искусства, я хочу рассказать о нем, а это нечто иное. Типаса для меня подобна тем персонажам, которых описывают, чтобы косвенным образом высказать свой взгляд на мир. Они свидетельствуют в пользу этого взгляда, и свидетельствуют по-мужски твердо. Так и Типаса. Сегодня она мой персонаж, и, пока я любовно описываю ее, я, кажется, буду пьянеть и пьянеть. Всему свое время — время жить и время запечатлевать жизнь. Наступает и время творить, что уже не так естественно. Мне достаточно жить каждой клеточкой тела и утверждать жизнь всеми фибрами сердца. Жить жизнью Типаса и запечатлевать эту жизнь. А потом придет и искусство. Здесь гнездится свобода.

Я никогда не оставался в Типаса больше чем на день. Всегда наступает момент, когда ты слишком присмотрелся к пейзажу, точно так же, как проходит долгое время, прежде чем в нею как следует всмотришься. Горы, небо, море подобны примелькавшимся лицам, которые вдруг поражают нас своей изможденностью или прелестью: до этого мы смотрели, вместо того чтобы видеть. Но всякое лицо, для того чтобы стать красноречивым, должно претерпеть известное обновление. И люди жалуются, что все слишком быстро приедается, когда им следовало бы восхищаться тем, что мир нам кажется новым только потому, что мы забыли, каков он.

К вечеру я возвращался в более ухоженную, расчищенную под сад часть парка, примыкающую к шоссе. Позади оставалось буйство солнца и запахов, в воздухе веяло вечерней прохладой, ум успокаивался, отдыхающее тело вкушало внутренний покой, который порождает удовлетворенная любовь. Я садился на скамейку и смотрел, как, замыкая окрестность в кольцо, со всех сторон надвигаются сумерки. Я чувствовал себя пресыщенным. Гранатовое дерево свешивало надо мной свои нераспустившиеся бутоны, твердые и ребристые, как кулачки, в которых зажата вся надежда весны. Позади меня рос розмарин, я чувствовал его хмельной запах. Сквозь деревья виднелись холмы, а еще дальше — кромка моря, на котором, как парус в безветрие, покоилось небо, полное несказанной нежности. В сердце у меня была странная радость, та самая, какую дарует спокойная совесть. Есть чувство, которое испытывают актеры, когда они сознают, что хорошо сыграли свою роль, то есть что их поступки в самом точном смысле слова совпадали с поступками воплощаемых ими идеальных персонажей, что они в некотором роде вселились в заранее сделанный рисунок и оживили его биением своего сердца. Именно это я и чувствовал: я хорошо сыграл свою роль. Я занимался своим человеческим делом, и то, что я наслаждался в течение всего долгого дня, казалось мне не исключительной удачей, а волнующим осуществлением призвания, которое в известных обстоятельствах вменяет нам в обязанность быть счастливыми. В таких случаях мы снова обретаем одиночество, но на этот раз в полноте удовлетворения.

Теперь на деревьях появились птицы. Земля глубоко вздыхала, перед тем как вступить в темноту. Скоро, с первой звездой, на сцену мира упадет ночь. Светозарные боги вернутся под сень своей каждодневной смерти. Но на смену им придут другие боги. Более мрачные, с изможденными лицами, они родятся в недрах земли.

А пока непрестанный шум волн, набегавших на берег, доносился до меня через широкий просвет среди деревьев, где в воздухе танцевала золотистая пыльца. Море, поля, тишина, запахи этой земли... Я вбирал в себя полную аромата жизнь и надкусывал уже зрелый плод прекрасного мира, с волнением чувствуя, как его сладкий и густой сок течет по моим губам. Нет, дело было не во мне и не в мире, а лишь в гармонии и тишине, рождавших между мною и миром любовь. Любовь, на которую я не имел слабости притязать как на свою исключительную привилегию, с гордостью сознавая, что разделяю ее с целым племенем, рожденным от солнца и моря и полным жизненных сил, — племенем, которое черпает свое величие в своей простоте и, стоя на взморье, отвечает понимающей улыбкой на лучезарную улыбку неба.

## ВЕТЕР В ДЖЕМИЛА

Есть места, где умирает дух и рождается истина как его прямое отрицание. Когда я приехал в Джемила, я застал там ветер и солнце, но об этом потом. Сначала нужно сказать, что там царила тишина, тяжелая и плотная тишина, неколебимая, как стрелка весов, застывших в равновесии. Крики птиц, сиплый голос флейты с тремя дырочками, топот коз, отдаленное погромыхивание в небе — все эти звуки и создавали ощущение тишины и запустения этих мест. Изредка слышалось хлопанье крыльев и пронзительный крик — это взлетала птица, притаившаяся между камней. Какой бы дорогой ты ни шел, по тропинке ли между останками домов, или по вымощенной плитами широкой улице между блестящих колонн, или через огромный форум между триумфальной аркой и храмом, что высится на холме, ты неизбежно приходишь к оврагам, которые со всех сторон окружают Джемила, этот пасьянс, разложенный под беспредельным небом. И ты оказываешься в заточении, наедине с камнями и тишиной, и кажется, что время остановилось, только горы с каждым часом растут и лиловеют. Но на плато Джемила дует ветер. И из сумятицы ветра и солнца, освещающего руины, возникает нечто такое, что дает человеку почувствовать всю меру своей общности с уединением и тишиной мертвого города.

Нужно много времени, чтобы поехать в Джемила. Это не такой город, куда заезжают по пути. Из него никуда не попадешь, и у него нет округи. Это место, откуда возвращаются назад. К мертвому городу ведет длинная, непрестанно петляющая дорога, и она кажется еще более длинной оттого, что всякий раз ждешь, что город покажется за поворотом. Когда наконец на плато, окрашенном в блеклые тона, в просвете между высокими горами возникает его желтоватый остов, похожий на лес скелетов, Джемила представляется символом того завета любви и терпения, верность которому только и может открыть нам трепещущее сердце мира. Там, на плато, среди редких деревьев и жухлой травы, она всеми своими горами и всеми своими камнями обороняется от вульгарного восхищения, пристрастия к живописному или приятной игры воображения.

Мы долго бродили среди этого пустынного великолепия. Ветер, который в полдень едва чувствовался, мало-помалу окреп и, казалось, заполонил собой весь пейзаж. Он дул в расщелину между горами далеко на востоке, налетал из-за горизонта и куролесил в царстве камней и солнца. Он безостановочно свистел в развалинах, крутился в каменистом цирке, обдавал груды исщербленных глыб, завихрялся вокруг каждой колонны и с неумолчным воем мел по форуму, распростертому под ослепительным небом. Я был исхлестан ветром, как рангоут попавшего в шторм корабля, и пронизан им до костей. Глаза у меня воспалились, губы потрескались, а пересохшая кожа была как чужая. Прежде она позволяла мне разбирать почерк мира. Он писал на ней знаки своей нежности или своего гнева, согревал ее дыханием лета или покусывал зубами изморози. Но, измотанный сопротивлением ветру, который больше часа тряс и выколачивал меня, я переставал сознавать, что запечатлевает мое тело. Ветер шлифовал меня, как приливы и отливы шлифуют гальку. Я все больше приобщался к стихии, во власти которой я был, и наконец слился с ней, смешав свой пульс с мощным и звучным биением вездесущего сердца природы. Ветер лепил меня по образу пылающей наготы, которая меня окружала. И в его мимолетных объятиях я, камень среди камней, обретал одиночество колонны или оливкового дерева на фоне летнего неба.

Это неистовое омовение в ветре и солнце исчерпывало все мои жизненные силы. Во мне едва трепыхалась воля, жаловалась воля, жаловалась жизнь, пытался протестовать разум. Казалось, вот-вот, забыв обо всем на свете и о самом себе, я развеюсь в воздухе и претворюсь в этот ветер и в эти омытые ветром колонны, арку, плиты, излучающие тепло, и блеклые горы вокруг пустынного города. И никогда еще до этого я не испытывал такого чувства отрешенности от себя самого и в то же время своего присутствия в мире.

Да, я присутствую. И в эту минуту меня поражает мысль, что дальше этого я пойти не могу. Как человек, приговоренный к пожизненному заключению: все, что для него существует, при нем. Но также и как человек, который знает, что завтрашний день будет похож на нынешний и все остальные дни тоже. Ибо для человека осознать свое настоящее — значит ничего больше не ждать. Разве только самые вульгарные пейзажи воспринимаются так или иначе в зависимости от душевного состояния. В этом краю я всюду ощущал нечто, не привнесенное мной, а присущее ему — как бы привкус смерти, который нас объединял. Здесь, среди колонн, которые теперь отбрасывали косые тени, тревоги таяли в воздухе, как вспугнутые птицы. И на смену им приходила беспощадная ясность. Тревога рождается в сердце живущих. Но этому живому сердцу суждено остановиться — вот и все, что говорит моя прозорливость. По мере того как день клонился к вечеру, как звуки и свет угасали под пеплом сумерек, я, покинутый самим собой, чувствовал себя все более беззащитным перед вызревавшими во мне силами отрицания.

Немногие понимают, что бывает отказ от прав и привилегий, не имеющий ничего общего с отречением. Что означают здесь слова «будущее», «преуспеяние», «положение»? Что означает духовное развитие? Если я упорно отказываюсь от всех на свете «когда-нибудь», то для меня речь идет как раз о том, чтобы не отречься от моего нынешнего богатства. Я не желаю верить, что смерть — это преддверие новой жизни. Для меня это запертая дверь. Нет, это не порог, который надо перешагнуть, а ужасная и гнусная история. Все, что мне предлагают, направлено к тому, чтобы избавить человека от бремени собственной жизни. Но, глядя на тяжелый полет каких-то больших птиц в небе Джемила, я домогаюсь именно некоего бремени жизни, и я получаю это бремя. Я могу лишь сохранять цельность в этой пассивной страсти, а остальное от меня не зависит. Я слишком полон молодости, чтобы говорить о смерти. Но мне кажется, что, если бы я должен был о ней говорить, я именно здесь нашел бы нужные слова, чтобы выразить постигаемую в безмолвном ужасе неизбежность смерти, не таящей надежды.

У каждого из нас есть несколько близких сердцу идей. Две-три идеи. Соприкасаясь с миром и с другими людьми, мы их отшлифовываем и преобразуем. Нужно лет десять, чтобы выработать действительно свежую идею — идею, о которой стоило бы говорить. Конечно, это слегка обескураживает. Но это позволяет человеку приглядеться к прекрасному лику мира. До сих пор он смотрел на него в упор. Теперь ему надо отступить в сторону, чтобы увидеть его в профиль. Молодой человек смотрит на мир в упор. Он не успел еще отшлифовать идею смерти или небытия, но она вселяет в него ужас. Быть может, этот жестокий тет-а-тет со смертью, этот животный страх солнцелюбивого существа и есть молодость. Вопреки тому, что обычно говорится, молодежь, по крайней мере в этом отношении, чужда иллюзий. У нее не было ни времени, ни благочестия, чтобы создать их себе. И почему-то, взирая на этот суровый пейзаж, этот каменный крик, торжественный и скорбный, на Джемила, освещенную зловещим заревом заката, на смерть надежды и красок, я был уверен, что люди, достойные этого имени, на краю могилы снова смотрят в глаза небытию, отвергают идеи, которые они исповедовали, и обретают девственную правдивость, которая светилась во взоре древних перед лицом судьбы. Когда смерть раскрывает им объятия, к ним возвращается молодость. В этом отношении нет ничего презреннее, чем болезнь. Это лекарство от смерти. Она подготавливает к ней. Она обучает умирать, и на первой стадии этого обучения проходит умиление самим собой. Она поддерживает человека в его судорожных усилиях укрыться от той несомненной истины, что он умирает весь. Но Джемила... В Джемила я чувствую, что истинный, единственный прогресс цивилизации, к которому время от времени приобщается личность, состоит в том, что он создает людей, умирающих сознательно.

Меня всегда удивляло, что мы, столь изощренные в рассуждениях о других предметах, обнаруживаем такую бедность мысли, когда речь заходит о смерти. Смерть — это благо или зло. Я боюсь ее, или я ее призываю (как некоторые говорят). Но это лишнее доказательство, что все простое выше нашего понимания. Что такое синее и что можно думать о синем? Вот так же и смерть ставит нас в тупик. О смерти и о цветах мы не умеем рассуждать. Однако что может быть важнее для меня, чем лежащий передо мною человек, тяжелый, как земля, — ведь это прообраз моего будущего. Но могу ли я действительно думать об этом будущем? Я говорю себе: я должен умереть. Но это ничего не значит, потому что я не в состоянии в это поверить и могу быть лишь свидетелем смерти других. Я видел, как умирают люди. И не раз видел, как умирают собаки. Прикосновение к ним потрясало меня. В такие минуты я думаю о цветах, об улыбках, о женщинах, которые будят во мне желание, и понимаю, что весь мой ужас перед смертью коренится в моей ревнивой любви к жизни. Я ревную к тем, кто будет жить и для кого будут существовать цветы и женщины во всей их плотской реальности. Я завистлив, потому что слишком люблю жизнь, чтобы не быть эгоистичным. Что мне до вечности! Быть может, в один прекрасный день услышишь: «Вы сильный человек, и я должен быть с вами откровенен: я могу вам сказать, что вы скоро умрете». И будешь лежать, судорожно цепляясь за жизнь, всем нутром чувствуя страх и бессмысленным взором глядя в пустоту. Что значит по сравнению с этим все остальное! При мысли об этом у меня кровь стучит в висках и я готов все вокруг разнести.

Но люди умирают вопреки самим себе, вопреки всему тому, чем они приукрашивают свою судьбу. Им говорят: «Когда ты выздоровеешь...» — а они умирают. Я не хочу этого. Ибо, если бывают дни, когда природа лжет, бывают и дни, когда она говорит правду. В этот вечер Джемила говорит правду, и как проникновенна ее печальная красота! Что до меня, то перед лицом этого мира я не хочу лгать и не хочу, чтобы мне лгали. Я хочу до конца нести бремя ясности и смотреть на неотвратимое со всей моей одержимостью, ужасом и ревностью. Я боюсь смерти в той мере, в какой я отделяю себя от мира, в той мере, в какой я связываю свою судьбу с судьбою живых, вместо того чтобы созерцать вечное небо. Создавать людей, умирающих сознательно, — значит уменьшать расстояние, которое нас отделяет от мира, и безрадостно вступать в свершающийся круговорот, сознавая всю пленительность бытия, которое нам суждено навсегда утратить. И, внимая печальной песне холмов Джемила, я до глубины души проникаюсь горечью этого поучения.

К вечеру мы поднимаемся по тропинкам, которые ведут в деревню, и, вернувшись, выслушиваем объяснения: «Здесь находится языческий город, а там, на отшибе, — христианское поселение. Позже...» Да, это так. Здесь сменялись люди и общества, завоеватели наложили на этот край отпечаток своей солдафонской цивилизации. У них было низменное и смешное представление о величии, и они измеряли величие своей империи пространством, которое они заселили. Но чудо в том, что руины их цивилизации являют собой прямое отрицание их идеала. Ибо этот город-скелет, созерцаемый с такой высоты поздним вечером, когда вокруг триумфальной арки летают белые голуби, не возносил в небо знаков власти и честолюбия. Мир всегда побеждает историю. Я понимаю поэзию, которой исполнен каменный крик, издаваемый Джемила среди гор, неба и тишины: это поэзия ясности и равнодушия, истинных признаков отчаяния или красоты. Сердце сжимается перед лицом этого величия, которое мы уже покидаем. Джемила остается позади со своим унылым, водянистым небом, пением птицы, доносящимся с другого края плато, козами, которые ручейками сбегают по склонам холмов, и объятым мягкими и гулкими сумерками живым ликом рогатого бога на фронтоне алтаря.

## ЛЕТО В АЛЖИРЕ

ЖАКУ ЭРГОНУ

Любовь, которая тебя соединяет с городом, чаще всего тайная. Такие города, как Париж, Прага, даже Флоренция, замкнуты в себе и тем самым ограничивают свой мир. Но Алжир — и другие счастливые города-избранники на морских берегах — открываются небу, словно рот или рана. В Алжире можно полюбить то, что видно всем: море за поворотом каждой улицы, тяжесть солнечных лучей, красоту жителей. И, как всегда, в этой бесстыдной открытости есть еще иной, тайный аромат. В Париже можно затосковать по простору и взмахам крыльев. Здесь по крайней мере человек одарен с избытком, все его желания исполнимы и он может измерить свои богатства.

Конечно же, надо долго жить в Алжире, чтобы понять, что чрезмерное обилие даров природы может иссушить душу. Ничто здесь не рождает желания больше знать, учиться, становиться лучше. Эта страна не преподает никаких уроков. Она ничего не обещает и не предвещает. Она только дает, но дает щедро. Она вся распахнута перед глазами, и ее узнаешь сразу, с первого же восхищенного взгляда. От ее наслаждений нет лекарства, и ее радости не пробуждают надежды. Ей необходимы ясновидцы, иными словами — безутешные души. Ей нужны бы подвиги во имя ясности разума, как всходят на костер во имя веры. Необыкновенная страна, она дает пищу равно и блеску, и нищете человеческой! Не удивительно, что чувственные богатства, какими наделен здесь каждый восприимчивый человек, сочетаются с крайним убожеством. Во всякой истине есть своя горечь. Так надо ли удивляться, если мне дороже всего облик этой страны, когда меня окружают последние бедняки?

В этом краю, пока человек молод, он наслаждается жизнью в меру своей красоты. А потом — угасание и забвение. Люди делали ставку на свое тело и знали, что неминуемо проиграют. Для того, кто молод и полон жизни, в Алжире везде приют, во всем повод для торжества: залив, солнце, игра красного и белого на обращенных к морю террасах, цветы и стадионы, девушки со стройными ногами. Но тому, чья молодость прошла, не на что опереться и печали негде укрыться от себя. Есть на свете места, где человек может бежать от своей человеческой природы и тихо и мирно избавиться от самого себя — можно, к примеру, найти прибежище на террасах Италии, в монастырях Европы или любоваться холмами Прованса. А здесь, в Алжире, все требует одиночества и молодой крови. Гёте, умирая, воскликнул: «Света!» — и его последнее слово вошло в историю. А в Белькуре и в Баб-эль-Уэде старики сидят в кофейне и слушают хвастливые речи молодых людей с прилизанными волосами.

Так алжирское лето раскрывает перед нами начала и концы человеческих судеб. В летние месяцы все, кто может, покидают город. Но остаются бедняки, и остается небо. Вместе с бедняками мы спускаемся к порту, здесь ждут сокровища: теплое море, смуглые женские тела. А вечером, насытясь этими богатствами, бедняки возвращаются к столу, покрытому клеенкой, и к керосиновой лампе — другого убранства в их жизни нет.

В Алжире не говорят «купаться», говорят «бултыхнуться в море». Не будем придираться. Здесь купаются в порту и отдыхают на буйках. Если купальщик, подплывая к буйку, видит там хорошенькую девушку, он кричит приятелям: «Глядите, чайка!» Это простые, здоровые радости. О других, наверно, эти молодые люди и не мечтают: почти все они ведут тот же образ жизни и зимой, каждый день в обеденный перерыв, во время скудной трапезы они подставляют обнаженное тело солнцу. Не то чтобы они читали докучные проповеди теоретиков жизни на лоне природы, этих новых протестантов, отстаивающих права плоти (когда расписывают по пунктам жизнь плоти, это столь же несносно, как строгая система в жизни духа). Нет, просто им «хорошо на солнышке». Невозможно оценить, как важен этот обычай для нашего времени. Впервые после двух тысячелетий на взморьях появились нагие тела. Двадцать веков кряду люди всячески старались придать благопристойное обличье дерзкому простодушию греков, все больше принижали тело и все усложняли одежду. А сегодня, в завершение этой долгой истории, движения юношей на берегах Средиземного моря вторят великолепной пластичности атлетов Делоса. И когда живешь вот так, всем телом среди других тел, начинаешь замечать, что у тела свои тончайшие оттенки, своя жизнь и, как ни странно это звучит, своя особая психология[[1]](#footnote-1). Тело развивается, как и дух, у этого развития тоже есть своя история, свои превратности, успехи и провалы. Взять хотя бы одну лишь тонкость — цвет кожи. Когда целое лето ходишь купаться в порт, замечаешь, что у всех кожа из белой понемногу становится золотистой, потом коричневой и наконец темно-шоколадной — это предел, которого может достигнуть, преображаясь, человеческое тело. Высоко над портом, точно детские кубики, теснятся белые дома Касбы. Когда лежишь у самой воды, на беспощадно белом фоне арабского города, вереница смуглых тел подобна медному фризу. И чем ближе к концу августа, чем огромней солнце, тем ослепительней белеют стены домов и тем жарче смуглеет кожа. Как же не слиться с этим диалогом камня и плоти, звучащим в лад солнцу и временам года? Все утро напролет — прыжки в воду, фонтаны брызг, и взрывы смеха, и широкие взмахи весел (огибаешь красные и черные борта грузовых судов — те, что пришли из Норвегии, дышат всеми запахами леса; от тех, что из Германии, несет масляной краской; о тех, что ходят вдоль побережья, пахнет вином и старыми бочками). В час, когда солнце заполняет все небо от края до края, оранжевая байдарка с грузом смуглых тел мчит нас к берегу в неистовом беге.

Мерные взмахи весел — а потом их лопасти, яркие, точно спелые плоды, разом застывают в воздухе, и мы еще долго скользим по тихим водам внутренней гавани, и как тут не поверить, что я переправляю по глади вод ладью с опаленными солнцем богами, в которых узнаю моих братьев?

А на другом конце города лето уже приготовило для нас совсем иные дары: безмолвие и скуку. Безмолвие ведь тоже разное, смотря по тому, рождено оно тенью или солнцем. Есть полуденное безмолвие на Правительственной площади. В тени окаймляющих ее деревьев арабы продают ледяной лимонад, приправленный для аромата настоем из апельсинового цвета, пять су стакан. Над пустынной площадью разносятся зазывные крики: «А вот кому холодного, холодного!» Затихнут крики — и снова под солнцем безмолвие, и мне слышно, как в кувшине торговца чуть позвякивают льдинки. Есть безмолвие сиесты. Глубину его на улице Торгового флота перед грязными парикмахерскими можно измерить по певучему жужжанью мух за занавесями из сухого тростника. А вот в мавританских кофейнях Касбы безмолвствует тело, оно не в силах выбраться оттуда, оторваться от стакана чаю и вместе с шумом своей крови вновь обрести ход времени. Но превыше всего безмолвие летних вечеров.

Краткие мгновения, когда день опрокидывается в ночь... надо ли населять их тайными знаками и зовами, чтобы так нераздельно для меня с ними слился Алжир? Стоит недолго побыть вдали от здешних мест, и в этих сумерках мне чудится обещание счастья. По склонам холмов над городом, среди олив и мастиковых деревьев, вьются дороги. Вот куда возвращается мое сердце. Я вижу, как там черными снопами взметаются на зеленом небосклоне птичьи стаи. Небо, где вдруг не стало солнца, словно вздохнуло с облегчением. Стайки алых облачков редеют и понемногу тают. Почти тотчас же прогладывает первая звезда, видно, как она возникает и крепнет в толще небес. И внезапно все поглощает ночь. Что же в них неповторимого, в этих мимолетных алжирских вечерах, отчего они так много во мне пробуждают? От них на губах остается сладость, но не успеешь ею пресытиться, как она уже исчезла в ночи. Быть может, отгого-то она и не забывается? Этот край таит в себе такую волнующую, такую неуловимую нежность! Но когда на миг она открывается, сердце отдается ей безраздельно. В Падовани, квартале бедноты, на взморье каждый день открыт дансинг. И в этом огромном ящике, одной стороной выходящем на море, до ночи танцует молодежь. Часто я жду здесь одной особенной минуты. Весь день окна затенены наклонными деревянными щитами. После захода солнца щиты убирают. И зал наполняется странным. зеленоватым светом, который отбрасывает двойная раковина моря и неба. Когда сидишь в глубине, подальше от окон, видишь только небо, и по нему опять и опять китайскими тенями проплывают мимо лица танцующих. Порой звучит вальс, и тогда черные профили на зеленом кружат с упорством бумажных силуэтов на патефонной пластинке. Очень быстро наступает ночь, загораются огни. Но есть для меня в этом тончайшем мгновенье что-то потаенное, окрыляющее. Помню рослую, статную красавицу, она танцевала весь вечер напролет. Голубое облегающее платье, влажное от пота, липло к бедрам и коленям, шею обвивала гирлянда жасмина. Она танцевала и все смеялась, запрокидывая голову. Она скользила мимо столиков, и за нею плыл смешанный запах плоти и цветов. Когда смерклось, я уже не различал ее тела, прильнувшего в танце к партнеру, только на темнеющем небе, кружась, мелькали то белые цветы, то черные волосы, а потом она вскинула голову, всколыхнулась высокая грудь, и я услыхал ее смех и увидел, как порывисто наклонился к ней профиль мужчины. Вот таким вечерам я и обязан своими понятиями о чистоте и невинности. И я научился не отделять этих людей, полных неукротимой силы, от неба, под которым кружат их желания.

На окраинах Алжира в кино иногда торгуют мятными пастилками, на которых отпечатано красной краской все, что нужно для начала любви: 1) вопросы: «Когда вы выйдете за меня замуж?», «Вы меня любите?» и 2) ответы: «Весной», «Страстно». Подготовив почву, пастилку передают соседке — и она либо отвечает тем же, либо прикидывается дурочкой. Бывало, в Белькуре вот так люди и женились, и вся жизнь строилась на том, что им случилось обменяться мятными конфетками. И в этом так ясно видна Детская душа здешнего народа.

Быть может, признак молодости — всепобеждающее стремление к легким радостям. Но еще того больше — торопливая, едва ли не расточительная жадность к жизни. В Белькуре, как и в Баб-эль-Уэде, женятся совсем молодыми. Работать начинают очень рано и за десяток лет исчерпывают опыт целой жизни. К тридцати годам для рабочего игра уже сыграна. Подле жены и детей ему остается только ждать конца. Все его радости были коротки и безжалостны. Такова и вся его жизнь. И тогда становится понятным, что он рожден страной, где человеку все дается ненадолго. Среди этой щедрости и изобилия жизнь проносится в сильных страстях — внезапных, захватывающих, безоглядных. Она в том, чтобы не созидать, но сжигать. А если так, незачем размышлять и стремиться к совершенству. Понятие об аде, например, здесь просто милая шутка. Подобные причуды воображения позволены разве что какой-нибудь ходячей добродетели. И я думаю, в Алжире само слово «добродетель» — пустой звук. Не то чтобы эти люди лишены были нравственных устоев. Нет, у них свои особые принципы и правила. Не годится быть «непочтительным» с матерью. На улице никто не смеет проявить неуважение к своей жене. Полагается оказывать внимание беременной женщине. Не полагается нападать вдвоем на одного — «это уж подлость». Кто не соблюдает этих простейших заповедей, тот «не мужчина» — и дело с концом. На мой взгляд, все это веско и справедливо. Нас еще немало — тех, кто бессознательно соблюдает этот устав улицы, единственный бескорыстный устав, какой мне известен. Но в то же время здесь неведома мораль торгашей. Когда полицейские ведут арестованного, я неизменно вижу на всех лицах сочувствие. И еще не узнав, кто он — вор, отцеубийца или просто инакомыслящий, люди говорят: «Бедняга!», а то и с оттенком восхищения: «Сразу видно, разбойник!»

Иные народы созданы для гордости и для жизни. Как ни странно, они особенно склонны к скуке. И совершенно не приемлют смерти. Если не считать чисто чувственных радостей, развлечения алжирцев весьма непритязательны. Общество любителей игры в шары и традиционные «обеды» однокашников или однополчан, кино за три франка и деревенские праздники — годами это единственные утехи всех, кому за тридцать. Воскресенье в Алжире едва ли не самый мрачный день. Этот народ не причастен к духу, так где же ему окутать мифами бездонный ужас своего бытия? Все, что относится к смерти, здесь либо нелепо, либо отвратительно. У этих людей нет ни веры, ни идолов, они живут в толпе, но умирают в одиночестве. Я не знаю ничего безобразнее кладбища на бульваре Брю, перед которым расстилается один из красивейших ландшафтов в мире. Здесь, где смерть открывает свое подлинное лицо, нестерпимо горько видеть, как траур захлестывает безвкусица. «Все проходит, кроме памяти», — гласят надписи на медальонах в виде сердца. И все настаивают на этой смехотворной вечности, которую нам задешево дарят любящие сердца. Те же словеса служат утешением во всяком горе. К мертвому обращаются на «ты»: «Мы тебя никогда не забудем», — мрачное притворство, словно бы наделяющее плотью и желаниями то, что в лучшем случае обратилось в черную жижу. А рядом, среди отупляющего нагромождения мраморных цветов и птиц, смелое обещание: «Не увянут цветы на могиле твоей». Но сразу успокаиваешься: надпись эта окружает золоченый лепной букет, ведь гипсовые цветы прекрасно сберегают время для живых (так же как бессмертники, обязанные своим пышным названием благодарности тех, кто пока еще вскакивает в трамвай на ходу). Поскольку надо идти в ногу с веком, взамен обычной малиновки надгробье иногда украшают сногсшибательным самолетиком из бисера, а пилота изображает глуповатый ангел, которого, нимало не заботясь о логике, снабдили парой роскошных крыльев.

И все же как вам объяснить, что эти образы смерти неотделимы от жизни? Все ценности здесь неразрывно связаны. Вот излюбленная шутка алжирских факельщиков: возвращаясь порожняком после похорон, они кричат с катафалка встречным девушкам: «Садись, красотка, подвезем!» Не очень приятно, но отчего бы не усмотреть в этом символ? Может также показаться кощунством, если при известии, что кто-то скончался, вам отвечают, подмигивая: «Бедняга, ему уж больше не петь». Или, как сказала одна жительница Орана, которая никогда не любила мужа: «Бог мне его дал, Бог и взял». Но в конце концов я не вижу, что в смерти священного, и, напротив, хорошо чувствую разницу между страхом и уважением. В стране, которая так и зовет жить и радоваться жизни, все дышит ужасом перед смертью. А между тем как раз под кладбищенской оградой молодежь Белькура назначает свидания, и не где-нибудь, а здесь девушки отдаются ласкам и поцелуям.

Я прекрасно понимаю, что такой народ не всем по вкусу. В отличие от Италии здесь разум не в чести. Алжирцев ничуть не занимает жизнь духа. Их преклонение и восторги отданы телу. В этом культе тела они и черпают свою силу, свой наивный цинизм и ребяческое тщеславие — все, за что их так сурово осуждают. Их упрекают обычно за «склад ума», иначе говоря, за взгляды и образ жизни. И в самом деле, слишком насыщенная жизнь не обходится без несправедливости. А все же этот народ без прошлого, без традиций не чужд поэзии — да, я знаю, это особая поэзия, грубая, чувственная, далекая от всякой нежности, совсем как алжирское небо, но, по правде сказать, только она меня и захватывает и задевает за живое. В противовес цивилизованным народам это народ-творец. И во мне теплится безрассудная надежда: быть может, эти варвары, что валяются под солнцем на взморье, лепят сейчас новую культуру, в чьем облике проявится наконец подлинное величие человека. Этот народ живет одним лишь сегодняшним днем, без мифов, без утешения. Он признает одни лишь земные блага и потому беззащитен перед смертью. Он издавна был одарен телесной, осязаемой красотой. А с нею — необычайной жадностью, которая всегда сопутствует столь преходящему богатству. Здесь каждый шаг и поступок проникнуты отвращением к постоянству, никто не заботится о том, что будет завтра. Люди торопятся жить, и если здесь суждено родиться искусству, оно будет послушно той вражде к долговечности, которая заставляла дорийских зодчих первую колонну вытесывать из дерева. И, однако, — да, конечно — не только неукротимость, но и чувство меры различаешь в облике этого буйного, страстного народа и в этом чуждом всякой нежности летнем небе, под которым можно высказать вслух любую истину и на котором никакое лживое божество не начертало знаков надежды или искупления. Между этим небом и запрокинутыми к нему лицами нет ничего такого, за что могли бы ухватиться мифология, литература, этика или религия, — лишь камни, да человеческая плоть, да звезды и те истины, которых можно коснуться рукой.

Ощущать узы, соединяющие тебя с землей, любить хотя бы немногих людей, знать, что есть на свете место, где сердце всегда найдет покой, — это уже немало для одной жизни, есть на что опереться. Но, конечно, этого недостаточно. И, однако, в иные минуты всем существом рвешься туда, на родину души. «Да, вот куда надо возвратиться». Разве так уж странно обрести на земле то единение, к которому стремился Плотин? Слияние здесь выражено в солнце и море. Сердце ощущает его в особом вкусе плоти, оно-то и оделяет ее и горечью, и величием. Я понимаю, нет счастья вне и выше человека, нет вечности вне отпущенного нам круга дней. Меня волнуют лишь эти ничтожные и несомненные блага, лишь эти относительные истины. А другие, «идеальные», мне непонятны, на них у меня не хватает души. Не в том дело, что нужно уподобиться животному, но в счастье ангелов я не вижу смысла. Знаю только, что небо останется, когда меня уже не будет. Так что же называть вечностью, если не то, что меня переживет? Я вовсе не хочу сказать, будто смертный доволен своей участью. Нет, это совсем другое. Не всегда легко быть человеком, еще трудней быть душевно чистым. Но быть чистым — значит обрести родину души, где тебе сродни все мирозданье и удары сердца слиты с неистовым дыханьем послеполуденного солнца. Старая истина: что значит родина, постигаешь в тот час, когда ее теряешь. Для тех, кто склонен к самоистязанию, родная страна — та, что их отрицает. Не хочу быть грубым, и пусть не подумают, что я преувеличиваю. Но в конце концов в этой жизни меня отрицает прежде всего то, что убивает. Все, что наполняет жизнь восторгом, в то же время делает ее еще абсурдней, бессмысленней. И алжирское лето заставляет меня понять: только одно еще трагичней страдания — это жизнь счастливого человека. Но, быть может, это еще и путь к жизни более значительной, ибо тут учишься не плутовать.

В самом деле, многие прикрываются любовью к жизни, чтобы избежать просто любви. Гонятся за наслаждениями и стараются «побольше испытать». Но это все умствования. Чтобы наслаждаться, нужно редкостное призвание. Человек существует, не опираясь на жизнь духа с ее приливами и отливами, приносящими и одиночество, и полноту. Когда смотришь на обитателей Белькура — как они работают, защищают своих жен и детей, и подчас кажется, их не в чем упрекнуть, — право же, можно втайне Устыдиться. Нет, конечно, я не тешу себя иллюзиями.

В жизни этих людей любви немного. Вернее сказать, ее немного остается. Но по крайней мере они ни от чего не увиливали. Есть слова, которых я никогда толком не понимал, например — грех. И, однако, я уверен: эти люди не грешны перед жизнью. Ибо уж если что и грешно, то не отчаиваться в этой жизни, а возлагать надежды на жизнь загробную и уклоняться от безжалостного величия здешнего, земного бытия. Эти люди не плутовали. В двадцать лет жажда жизни делала их богами лета, и теперь, лишенные всех надежд, они остаются прежними. Я видел, как умирали двое из них. Они были полны ужаса, но молчали. Так лучше. Из ящика Пандоры, где скрывались все злосчастья человечества, древние греки последней выпустили надежду как самую грозную из казней. Я не знаю символа более потрясающего. Ибо наперекор тому, что принято думать, надежда — это покорность. А жить — значит не покоряться.

Вот хотя бы один суровый урок, который дают летние дни в Алжире. Но погода меняется, лето уже на исходе. После такого буйства и пыла первые сентябрьские дожди — словно первые слезы освобожденной земли, как будто за несколько дней весь этот край растворился в нежности. И, однако, в эту же пору над всей страной разливается любовный аромат цветущих рожковых деревьев. По вечерам или после дождя чрево земли еще влажно от семени, что пахнет горьким миндалем, все долгое лето она отдавалась солнцу и теперь отдыхает. И снова этим ароматом освящен брачный союз человека и земли, и в нас пробуждается единственная в этом мире подлинно мужественная любовь — преходящая и щедрая.

## ПУСТЫНЯ

ЖАНУ ТРЕНЬЕ

Разумеется, жить — это совсем не то, что рассуждать о жизни. Если верить великим тосканским мастерам, жить — это трижды свидетельствовать — в тишине, пламени и неподвижности.

Требуется немало времени, чтобы признать, что персонажей их картин ежедневно встречаешь на улицах Флоренции или Пизы. Но точно так же мы разучились видеть настоящие лица тех, кто нас окружает. Мы больше не смотрим на наших современников, мы ищем в них только то, что помогает нам лавировать меж людьми и соблюдать правила приличного поведения. Мы предпочитаем живому лицу его самую вульгарную поэзию. Но что касается Джотто или Пьеро делла Франческа, то они хорошо знают, что человеческая восприимчивость — ничто. В конце концов, сердце есть у каждого, и поэтому она присуща каждому. Но великие простые и вечные чувства, вокруг которых вращается жажда жизни, ненависть, любовь, слезы и радости, растут в глубине человека и формируют лицо его судьбы, — как в «Положении во фоб» Джотгино боль стиснутых зубов Марии. В огромных величавостях тосканских церквей я ясно вижу толпу ангелов с бесконечно повторяющимися лицами, но в каждом из этих молчаливых и страстных ликов я узнаю одиночество.

Речь идет, действительно, о живописности, о каком-нибудь запечатленном эпизоде, об оттенках или о волнении. Короче, речь идет о поэзии. Но в расчет принимается только правда. Правдой я называю все то, что имеет продолжение. Существует изощренная точка зрения, что в этом смысле только художники могут утолить наш голод, ибо у них есть привилегия становиться романистами тела. К тому же, они работают в этой великолепной и пустотелой субстанции, которая именуется настоящим. А настоящее всегда передается в жесте. Они изображают не улыбку или мимолетную стыдливость, не сожаление или ожидание, но лицо, его плоть и кровь, его кожу и кости черепа. Из этих лиц, застывших в вечных линиях, они навсегда изгнали метания духа — но ценой надежды. Впрочем, тело не знает надежды, оно знает только биение своей крови. Свойственная ему вечность соткана из безразличия. Как в «Бичевании Христа» Пьеро делла Франческа, где на только что вымытом дворе подвергаемый истязанию Христос и его приземистый палач обнаруживают в своих позах одно и то же равнодушие. И это потому, что пытка не имеет продолжения, и ее урок застывает на холсте. Какой смысл волноваться за того, кто не ждет завтрашнего дня? Безучастность и величие человека, лишенного надежды, вечное настоящее — именно это дальновидные теологи называли адом. А ад, как известно каждому, это еще и страдающая плоть. Именно на этой плоти, а вовсе не на ее судьбе, сконцентрировались тосканцы. Пророческой живописи не существует, и не в музеях нужно искать повода для надежды.

Бессмертие души действительно занимает многие великие умы. Но они отказываются еще до того, как исчерпана суть проблемы, от единственной реальности, которая им дана, то есть от тела. Дело в том, что оно не задает им вопросов или, по крайней мере, они знают единственный ответ, который оно предлагает: это истина, которая обречена сгнить и потому источает горечь и благородство, в лицо которым люди не смеют взглянуть. Великие умы предпочитают телу поэзию, ибо она есть творчество души. Пусть я немного играю словами, но, надеюсь, понятно, что истиной я хочу освятить только высокую поэзию: черное пламя, которое итальянские художники, начиная с Чимабуэ до Пьеро делла Франческа, взметнули среди тосканских пейзажей, как естественный протест человека, брошенного на землю, великолепие и свет которой непрестанно говорят ему о Боге, которого не существует.

С помощью безразличия и бесчувственности случается, что лицо человеческое достигает минерального величия пейзажа. Как некоторые испанские крестьяне начинают походить на выращиваемые ими оливковые деревья, так и лица на картинах Джотто, лишенные смехотворных теней, в которых проявляется душа, в конце концов догоняют саму Тоскану в том единственном уроке, где она не скупится: полыхание страсти в ущерб эмоциям, смесь аскезы и наслаждения, общий для земли и человека отзвук, когда и человек и земля находят себя где-то на полпути между несчастьем и любовью. Не так уж много истин, в которых сердце было бы убеждено. Очевидность этой истины я вполне постиг однажды вечером, когда сумерки начинали затоплять виноградники и оливы флорентийской долины безбрежной, молчаливой печалью. Но печаль в этой стране всегда лишь сопровождение к красоте. И в поезде, идущем сквозь вечер, я чувствовал, как во мне что-то проясняется. Могу ли я сегодня сомневаться, что, несмотря на обличье печали, это все-таки именовалось счастьем?

Да, Италия щедро подтверждает своими пейзажами урок, явленный ее людьми. Но счастье легко проворонить, ибо оно всегда незаслуженно. В том числе в Италии. И ее прелесть, даже если она внезапна, не во всякий миг очевидна. Италия больше, чем какая-либо другая страна, призывает к углублению опыта, хоть на первый взгляд он, кажется, представлен человеку весь сразу. Суть в том, что Италия прежде всего расточительна в поэзии, и это затуманивает постижение истины. Ее первые чары являются ритуалами забвения: розовые лавры Монако, Генуя, полная цветов и запахов рыбы, голубые вечера Лигурийского побережья. Наконец, Пиза, а с ней и Италия, лишенная шаловливого очарования французской Ривьеры. Но она еще вполне доступна, и почему бы не поддаться на какое-то время ее чувственной грации? Меня ничто не насилует, когда я здесь (и я лишен услад загнанного туриста, так как билет по сниженной цене понуждает меня оставаться некоторое время в городе «моего выбора»), и моя терпеливая готовность любить и понимать кажется мне безграничной в тот вечер, когда я, усталый и голодный, вхожу в Пизу, встреченный на вокзальной площади десятком грохочущих громкоговорителей, опрокидывающих водопад романсов на толпу, в которой почти все молоды. Я заранее знаю, чего жду. После очередной прихоти жизни наступит особое мгновение: закрыты кафе, и внезапно вернулась тишина, а я пройду по коротким и темным улицам к центру города. Темная и золотистая река Арно, желтые и зеленые памятники, пустынный город — как описать такой неожиданный и проворный прием, благодаря которому Пиза в десять часов вечера переодевается в этот странный наряд: тишина, вода и камни? «В подобную ночь, Джессика!» На этих уникальных подмостках вдруг появляются боги с голосами влюбленных Шекспира... Нужно уметь отдаваться мечте, коща мечта отдается нам. В глубине этой италийской ночи я уже слышу первые аккорды такого глубинного пения, которого здесь и не ожидаешь. Завтра, только завтра поля округлятся в свете утра. Но сегодня вечером я — бог среди богов, и перед Джессикой, убегающей «быстрыми шагами любви», я смешиваю свой голос с голосом Лоренцо. Но Джессика — лишь предлог, и любовный порыв ее обгоняет. Мне представляется, что Лоренцо не столько ее любит, сколько благодарен ей за разрешение ее любить. Но к чему сегодня вечером думать о Возлюбленных из Венеции и забывать Верону? Потому что здесь почти ничто не понуждает нежно любить несчастных возлюбленных. Нет ничего более бессмысленного, чем умереть за любовь. Надо жить. И живой Лоренцо лучше, чем погребенный Ромео, несмотря на его розовый куст. Как же тогда не танцевать на этих праздниках живой любви — дремать после полудня на невысокой траве Пьяцца дель Дуомо среди памятников, которые всегда успеешь осмотреть, пить из городских фонтанов, где вода немного теплая, но такая текучая, увидеть еще раз смеющееся лицо той женщины с удлиненным носом и горделивыми губами. Нужно только понять, что это приобщение готовит к более высоким озарениям. Это сверкающие шествия, ведущие дионисовы мистерии в Элевсин. Только в радости человек усваивает уроки, и плоть его, достигнув наивысшей степени опьянения, становится сознательной и ощущает свою сопричастность священной тайне, символом которой является захмелевшая кровь. Полное самозабвение, дарованное пылом начальной Италии, готовит к этому уроку, который освобождает нас от надежды и похищает у нашей истории. Двойная правда тела и мига при лицезрении красоты — как не ухватиться за нее, как за единственное в своем роде счастье, которое должно нас окодцоватъ, но одновременно и погубить.

Самый отталкивающий материализм не тот, который в ходу, но тот, что выдает мертвые идеи за живую реальность и отвлекает на бесплодные мифы наше постоянное прозорливое внимание, обращенное на то, что должно навек умереть в нас. Я вспоминаю, как во Флоренции в монастыре мертвых в Сантиссима-Аннунциата я был выведен из себя чем-то похожим на скорбь и что оказалось всего лишь гневом. Шел дождь. Я читал надписи на надгробных плитах и посвящениях. Этот был нежным отцом и верным мужем; тот — лучшим из супругов и одновременно удачливым коммерсантом. Некая молодая женщина, образец всех добродетелей, говорила по-французски si como il nativo[[2]](#footnote-2). А вот девочка, которая была любимицей близких, но ma la gioila е pellegrina sulla terra[[3]](#footnote-3). Однако ничто из этого меня не трогало. Почти все, судя по надписям, безропотно покорились смерти, поскольку покорялись и всем своим прочим обязанностям. Сегодня дети залезли в монастырь и играли в чехарду на плитах, призванных увековечить добродетели покойных. Наступала ночь, и я сел на землю, прислонившись к колонне. Священник, проходя мимо, улыбнулся мне. В церкви глухо звучал орган, и теплый цвет его мелодии иногда прорывался сквозь крики детей. Один у колонны, я походил на человека, которого схватили за горло и который провозглашает свою веру как последнее слово. Все во мне протестовало против подобного смирения. «Так нужно», — требовали надписи. Ну нет уж, и мой бунт был справедлив. За этой радостью, идущей равнодушно и самоуглубленно, как пилигрим по земле, мне нужно было следовать шаг за шагом. Но я говорил: нет. Говорил изо всех сил. Плиты сообщали мне, что все бесполезно и что жизнь проходит: col sol levante, col sol cadente[[4]](#footnote-4). Но я и сегодня не вижу, чтó эта бесполезность отнимает у моего бунта, зато хорошо чувствую, чтó она ему добавляет.

Впрочем, я не это хотел сказать. Я хотел бы немного яснее очертить истину, которую я открыл тогда в самом сердце своего бунта: она была лишь продолжением той истины, что тянулась от маленьких запоздалых роз монастыря Санта-Мария-Новелла к женщинам того воскресного утра во Флоренции, женщинам с влажными губами и нестесненной грудью под легкими платьями. В то воскресенье на углу каждой церкви стояли прилавки с мясистыми, блестящими от жемчужин воды цветами. Я тогда находил в этом нечто вроде «наивности», а также воздаяния. В этих цветах, как и в этих женщинах, было щедрое изобилие, и я ощущал, что хотеть одних — почти то же, что страстно желать других. Для этого достаточно чистого сердца. И все же в такие минуты он, по крайней мере, обязан назвать истиной то, что его так явственно очистило, даже если для других эта истина может показаться богохульством, как тот день, о котором идет речь: я провел то утро во францисканском монастыре во Фьезоле, пропахшем лаврами. Я много времени провел в маленьком дворике, наполненном красными цветами, солнцем и желто-черными пчелами. В углу стояла зеленая лейка. Перед тем, как прийти сюда, я осмотрел монашеские кельи и видел там столики, украшенные черепами. Теперь этот сад свидетельствовал об их существованиях. Я вернулся во Флоренцию по холму, который спускался к городу со всеми его кипарисами. Это великолепие мира, эти женщины и цветы казались мне как бы оправданием тех монахов. Я не был уверен, что это не служило оправданием и для всех людей, которые знают, что крайняя степень бедности всегда сочетается с роскошью и богатством мира. В жизни тех францисканцев, запертых между колоннами и цветами, и в жизни молодых людей с алжирского пляжа Падовани, круглый год проводящих на солнце, я чувствовал нечто общее. Если они и снимают одежду, то для пущего ощущения этой жизни, а не для иной жизни. По-моему, это единственное приемлемое употребление слова «лишение». Нагота всегда подразумевает физическую свободу, и это согласие руки и цветов, это любовное взаимопонимание земли и человека, освобожденного от человеческого, — ах! я бы обратился в эту веру, если бы это уже не стало моей религией. Нет, здесь не может быть богохульства даже в том случае, если я скажу, что внутренняя улыбка святых Францисков Джотто оправдывает тех, кто имеет склонность к счастью. Так как мифы для религии — то же, что и поэзия для истины, то есть смехотворные маски, надетые на страсть к жизни.

Пойду ли я дальше? Те же люди, которые во Фьезоле живут перед красными цветами, имеют в кельях череп, который питает их раздумья. Флоренция у их окон, и смерть на их столе. Некоторая непрерывность отчаяния может затеплить радость. И при определенной температуре жизни смешавшиеся душа и кровь умело живут на противоречиях, одинаково безразличные к долгу и к вере. И я уже не удивляюсь, что на одной из стен Пизы чья-то веселая рука так обобщила своеобразное понимание чести: «Alberto fa l'amore con la mia sorella»[[5]](#footnote-5). Я уже не удивляюсь, что Италия — земля кровосмешений, и — что особенно примечательно — кровосмешений признанных. Ибо путь, ведущий от красоты к безнравственности, извилист, но непреложен. Погруженный в красоту, ум питается небытием. Перед этими пейзажами, от величия которых перехватывает горло, каждая из мыслей — помарка на человеке. И скоро, отвергнутый, обремененный, придавленный и омраченный столькими тягостными убеждениями, он станет ничем перед миром — бесформенное пятно, которое знает истину только пассивную, или ее цвет, или ее солнце. Такие безупречные пейзажи иссушающи для души, и их красота непереносима. В этих евангелиях от камня, неба и воды сказано, что ничто не воскресает. Отныне внутри этой великолепной пустыни в сердце для здешних людей зарождается искушение. Что же удивительного в том, что возвышенные умы перед этим зрелищем благородства в воздухе, напитанном красотой, не убеждены, что величие может объединяться с добром? Рассудок без Бога, которого тот уничтожает, ищет Бога в том, что рассудком отрицается. Борджиа, прибыв в Ватикан, восклицает: «Бог даровал нам папство, и нужно спешить им попользоваться». И слово у него не расходится с делом. Спешить — это хорошо сказано. В этом чувствуется отчаяние, столь свойственное облагодетельствованным людям.

Быть может, я ошибаюсь. Ведь я был счастлив во Флоренции, как и многие другие до меня. Но что такое счастье, если не простое согласие между человеком и жизнью, которую он ведет? И какое более законное согласие может соединить человека с жизнью, если не двойное осознание своего желания быть всегда и своей участи умереть? По крайней мере, учишься ни на что не рассчитывать и рассматривать настоящее, как единственную истину, которая нам дана «сверх всего». Я уже слышу, как мне говорят: Италия, Средиземное море, древние земли, где все соразмерно человеку. Но пусть мне покажут иной путь. Дайте мне открыть глаза, чтобы я мог отыскать свою меру и свою отраду! А впрочем, я вижу сам: Фьезоле, Джемила и гавани, осиянные солнцем. Мера человека? Тишина и мертвые камни. Все остальное принадлежит истории.

Но не здесь следовало бы остановиться. Ведь нигде не сказано, что счастье неразрывно слито с оптимизмом. Оно связано с любовью, что не одно и то же. И я знаю часы и места, где счастье может показаться таким горьким, что ему предпочитаешь лишь намек на него. Но причина в том, что в эти часы и в этих местах у меня не было достаточно мужества любить, то есть не отказываться от любви. Здесь следует напрямую сказать о вхождении человека в празднества земли и красоты. Ибо именно в такие минуты человек, подобно неофиту, сбрасывает последние покровы, теряет свою личность и становится разменной монетой в руках Бога. Да, существует более высокое счастье, когда обыденное счастье кажется ничтожным. Во Флоренции я поднимался в саду Боболи до террасы, откуда открывались Монте-Оливето и городские холмы до самого горизонта. На каждом из этих холмов оливы были бледными, как маленькие туманности, и в дымке, которую они образовывали, выделялись более твердые кипарисы, самые близкие — зеленые и дальние — черные. Глубокую голубизну неба пятнали облака. На излете послеполуденного времени нисходил серебряный свет, и все становилось тишиной. Вершины холмов сначала тонули в облаках. Но вот поднялся бриз, дыхание которого я ощущал на лице. Бриз рассеивал облака, и холмы возникали словно из-за открывшегося занавеса. Одновременно казалось, что верхушки кипарисов мигом врастали во внезапно открывшуюся голубизну. Вместе с ними весь холм и пейзаж из олив и камней вновь медленно поднимались. Но тут приплыли другие облака, и занавес закрылся. А холм снова опустился вместе со своими кипарисами и домами. А затем опять — вдалеке, на отдаленных холмах, все более и более бледневших, — тот же бриз, который расправлял плотные складки облаков и образовывал их снова. В этом великом дыхании мира одно и то же дуновение завершалось с интервалом в несколько секунд и вновь, время от времени, подхватывало тему камня и воздуха в фуге вселенского звучания. Каждый раз тема укорачивалась на один тон: следя за ней на все большем расстоянии, я все больше успокаивался. И достигнув предела этой чувствительной для сердца перспективы, я охватывал взглядом этот бег синхронно дышащих холмов и слышал как бы пение всей земли.

Я знал, что миллионы глаз созерцали этот пейзаж, но для меня он был как первая улыбка неба. Он открывал для меня новые горизонты в точном смысле этого выражения. Он убеждал меня, что без моей любви и этого прекрасного крика камня все было бы бесполезно. Мир прекрасен, и вне его нет никакого спасения. Вот великая истина, которую он мне терпеливо преподавал: разум — ничто, да и сердце тоже. Он учил меня, что камень, нагретый солнцем, или кипарисы, углубляющие небо, ограничивают единственную вселенную, где слова «быть правым» приобретают смысл: природу без людей. И этот мир меня истребляет. Он доводит меня до предела. Он безгневно отвергает меня. Тем вечером, спускавшимся на флорентийскую долину, я держал путь к мудрости, где все уже было покорено, если бы слезы не навернулись мне на глаза и если бы великое рыдание поэзии, переполнявшее меня, не заставило меня забыть об истине мира.

Именно на этом равновесии следовало бы остановиться: редкое мгновенье, когда духовность отвергает мораль, когда счастье рождается из отсутствия надежды, когда дух находит свой смысл в теле. Если правда, что всякая истина несет в себе горечь, то так же истинно, что всякое отрицание содержит прорастающее «да». И эта песнь любви без надежды, порожденная созерцанием, может также представляться самым действенным правилом всемирного действа. Вышедший из гробницы воскресший Христос на полотне Пьеро делла Франческа лишен человеческого взгляда. На его лице не написано ничего счастливого, одно только ожесточенное и бездушное величие, которое я понимаю как твердую решимость жить. И в этом мудрец не отличается от слабоумного. Такой поворот меня пленяет.

Обязан ли я этим открытием Италии, или же я извлек его из собственного сердца? Вне всякого сомнения, оно далось мне именно там. Хотя в Италии, как и в других благословенных местах, прорва красоты, тем не менее, люди и там умирают. Тут тоже должна разлагаться истина, а что может быть более возбуждающим? Если бы даже я ее и желал, что делать с иеразлагаемой истиной? Она мне не соответствует. И любить ее было бы лукавством. Редко понимают, что вовсе не от безнадежности человек покидает то, что составляло его жизнь. Отчаянные проступки ведут к другим жизням и обозначают только трепетную привязанность к урокам земли. Хотя бывает и так, что на определенной ступени ясности ума человек чувствует, что сердце его исчерпано, и без особого протеста поворачивается спиной к тому, что до этих пор принимал за свою жизнь, иначе говоря, за свою суету. Если Рембо кончил тем, что в Абиссинии не написал ни единой строчки, то это отнюдь не из-за склонности к авантюрам или писательского отступничества. Он сделал это «просто так», а точнее оттого, что при особой обостренности сознания мы в конце концов признаём то, что заставляли себя не понимать, согласно своему призванию. Ясно, что речь идет об изучении географии некой пустыни. Но эта необычная пустыня ощутима только для тех, кто способен гам жить, никогда не утоляя своей жажды. И тогда, только тогда, она наполнится живыми водами счастья.

В саду Боболи — только руку протяни — висели огромные золотистые плоды хурмы, лопнувшая оболочка которых источала густой сироп. От этого легкого холма с сочными плодами, от тайного братства, которое приводило меня в согласие с миром, от голода, который влек меня к оранжевой плоти подле моей руки, я постигал равновесие, которое приводит некоторых людей от схимы к наслаждению и от аскезы к буйному сладострастию. Я восхищался, я восхищаюсь и доселе этой связью, объединяющей человека с миром, этой двойственностью, в которой мое сердце может принимать участие и диктовать условия своего счастья до точного предела, где мир может его дать или прикончить. Флоренция! Одно из немногих мест в Европе, где я понял, что в глубине моего бунта дремало согласие. В небе Флоренции, смешанном со слезами и солнцем, я учился соглашаться с землей и пылать в мрачном пламени ее празднеств. Я испытывал... но что за слово? Какой вздор! Как освятить согласие любви и бунта? Земля! В этом великом, оставленном богами храме у всех моих идолов глиняные ноги.

1. Не посмеются ли надо мной, если я скажу, что не нравится мне, как Андре Жид превозносит тело? От плоти он требует сдержанности, чтобы придать желанию больше остроты, и таким образом сближается с теми, кого на жаргоне домов терпимости именуют закрученными или больно умными. Христианство тоже стремится обуздать желание, но понимает это прямолинейней — как умерщвление плоти. Мой приятель Венсен, бондарь, чемпион по брассу среди юношей, смотрит на вещи куда проще. Ощутив жажду, он пьет; когда его тянет к женщине, старается с нею переспать, а если полюбит (пока еще с ним такого не случилось), то и женится. А потом он всякий раз говорит: «Вот так‑то лучше», — и, право же, трудно полнее оправдать утоленное желание. [↑](#footnote-ref-1)
2. как на родном *(итал.).*  — *Прим. переводчика.* [↑](#footnote-ref-2)
3. радость — странница на земле *(итал.) — Прим. переводчика.* [↑](#footnote-ref-3)
4. с восходом солнца, с заходом солнца *(итал.) — Прим. переводчика.* [↑](#footnote-ref-4)
5. Альберто занимается любовью с моей сестрой *(итал.) — Прим. переводчика.* [↑](#footnote-ref-5)